

15.01.1

Камбуrowa

● После концертов Елены Камбуrowой в пору предаться самым грустным размышлениям. Почему опять-таки «все не так»? Не так, как мечталось и десять, и пятнадцать лет назад? Ведь казалось, что должно, наконец, наступить на сцене время высокого искусства Окуджавы, Визбора, Камбуrowой... А тут сидишь на концерте, еще более редком, чем в те годы, и с тоской ловишь себя на мысли, что все это, видимо, уже уходящее. Недаром же Булат Окуджава назвал Камбуrowу «последней героической женщиной в нашем жанре». Она действительно оказалась островком в океане пошлости, безвкусицы и поэмы, захлестнувшей нашу сцену. Некоторые отчаявшиеся ценители уже перестали понимать, что, собственно, происходит, и утверждают, будто подобное возможно не иначе, как перед концом света. И это немудрено. Ведь ныне с подмостков «в поте лица своего», с надрывом хрипит, кричит и гремит замороченное, изуверившееся наше молодое социалистическое человечество, кричит, как умеет и как ему это дано. И надо ли удивляться, что поют они о любви как о светопреставлении, что слова их песен не обременены смыслом и, кажется, не особенно нуждаются в сопровождающих их музыкальных ритмах, а музыка так же мало нуждается в словах? Поэзия покинула экраны и сцены. Не это ли предвестие того, что вскоре она покинет и наши души? На этот раз Елена Камбуrowа привезла в Киев новые программы, построенные на французской и английской поэзии XVI века, «Реквием» Ахматовой. И хотя Дом офицеров был, как всегда, полон, событием в культурной жизни города эти концерты не назовешь: Киев, как кролик на удава, пристально глядел на парадные спектакли и отслеживал каждый шаг скандального депутата. Иные, как говорится, времена, иные кумиры.



— Во вступлении к новой своей программе вы сказали, что в XVI веке музыка еще была легка и свободна, чем, конечно, удивила зал...
— Для меня это так. В то время человек, особенно художник, интуитивно тянулся к гармонии и не хотел разлада. Поэтому все, что пришло к нам из того времени, несет на себе печать света и гармонии.
— Быть может, это только нам кажется, и мы видим в прошлом то, что нам хотелось бы видеть в настоящем. Ведь идеальными те времена вряд ли назовешь.
— Самое высокое в искусстве — музыка. Это было всегда. Сегодня же, когда все разъединяет, разрушает, очень трудно написать что-то подобное. Конечно, люди тянутся к ней, но не могут освободиться от гирь, навязанных им нашей разоренной жизнью, бытом. Я давно хотела спеть Шуберта, поэтому новая программа родилась не случайно. Хочется жить в этом измерении. С этой музыкой приходит свет и в твою жизнь — тогда все, что происходит вокруг, воспринимается по-другому. Ты становишься мудрым, поскольку в тебе — мудрость столетий. А радости и стремления того времени становятся твоими. На самые грустные явления смотришь проще и ощущаешь себя действительно жителем Земли. И, может, поэтому мне трудно понять все эти националистические явления. Я же по национальности гречанка, а выросла на Украине. Кстати, недавно впервые побывала в Греции, и мне интересно было увидеть землю, родившую такое величие духа в истоках. Это действительно мое. Я начала петь греческие песни и действительно ощущаю какую-то внутреннюю связь. Но не более того...
— Вы поете песни многих народов на их языках, но в вашем репертуаре нет песен украинских...
— Я все время хочу спеть что-нибудь украинское, но пока не нахожу того, что соответствовало бы мне, видимо, потому, что плохо ищу. Ведь Украина и Киев многое для меня значат. В Хмельницком живет моя матушка, у которой я ежегодно гощу. А Киев — это был мой первый город, после Хмельницкого, причем Хмельницкого моего детства — совершенно маленького провинциального Проскурова. Я до сих пор явственно помню свой первый шаг на Киевском вокзале. Тогда все на меня обрушилось: площадь, огромное количество машин, людей. Ощущение чего-то просто невероятного. До сих пор помню, как было трудно переходить дорогу, и я никак не могла понять, как это нужно делать — тогда еще не везде были светофоры. А когда я уже была студенткой института легкой промышленности, то ездила на Владимирскую горку и там ждала вдохновения, чтобы писать стихи. И думала, что же это такое: все вроде для этого есть, а стихи не пишутся... Тогда мы очень любили гулять по киевским паркам, Лавре, любоваться замечательной архитектурой, которая сохранилась в центре и на Подоле. В Киеве же я выступила в первом своем концерте, когда занималась в художественной самодеятельности. В Октябрьском Дворце мне поручили объявлять номера настоящим артистам! В национальном украинском костюме, без микрофона, на весь зал я объявляла номера и читала стихи (почему-то запомнилось): «На бій за владу Ред вели нас комунари, і ми перемогли в жовтневому бою»... Но в последующем долго не решалась ехать в Киев.
— А перед Москвой вы страха не испытывали?
— В Москве я просто очень удачно начала. Не афишно, а в смысле приема. Меня очень хорошо принимали студенты МГУ и других вузов. К тому же, мне сильно помогла Цецилия Львовна Мансурова — удивительная актриса, первая Турандот у Вахтангова. Она так поверила, что я смогу стать драматической актрисой (я тогда поступала в Шукшинское училище), что мне ее отношения хватило надолго. Затем, буквально в последние месяцы его жизни, я подружилась с Леонидом Енгилбаровым, которого считали гениальным актером. Мы даже строили планы на совместные постановки. Ну и, конечно, мне очень помогала дружба с Фаиной Георгиевной Раневской.
— Но, говорят, Раневская, великая актриса, подру-

га Ахматовой, была очень щепетильна в выборе друзей!
— Она, действительно, мало кого принимала. Интересна история нашего знакомства. Когда я уже заканчивала училище эстрадно-циркового искусства, то записала на радио одну из «Сказок об Италии» Горького. Эту запись услышала Раневская и написала в редакцию восторженное письмо. Когда я его получила, да и многие годы после, не верила, что оно от Раневской. Мне казалось, что меня кто-то из моих друзей...
— Хотел разыграть!
— Нет, наоборот, поддержать. А когда я совсем случайно попала к ней в дом и она спросила: «Девочка, вы кто?» Я ответила, вот, мол, та самая. И первая ее фраза была: «Девочка, хорошо, что вы не

Киевское зрание. - Киев. - 1991. - июнь.

Елена КАМБУРОВА:

«Я ВСЕГДА НАХОЖУСЬ В ЭМИГРАЦИИ»

фаи». А еще через полтора года я была вхожа в ее дом. Меня многое в ней потрясло: особенно способность и умение слушать музыку. Она не могла ставить сама пластинки на проигрыватель, и я приняла свои и ставила то, что она особенно любила, — французскую эстраду, Пиаф, Рахманинова... Она как-то удивительно спрашивала: «Дзэчка, как твои дела?» И я начинала долго-долго рассказывать, и все всегда было так сложно. И помню, как однажды она слушала-слушала и говорит: «Но, несмотря ни на что, дзэчка, вы же не поете «Ура, ура в... дыра!» В ее устах всегда это было так смешно, что я об этом рассказывала на съемках в Киеве, а затем Миша Казакв вернул эту фразу обратно Раневской. Вы не представляете, что тут произошло! Она была в гневе: «Я никогда не могу произносить такие слова, вы понимаете...» и так далее. Мне пришлось ей писать большое покаянное письмо, что вот, мол, и Пушкин употреблял такие словечки, и извиняться. На том и помирились. Я всегда хотела поделиться с нею чем-то своим. Своей любовью к Жаку Брелю. Принесла ей Джеральда Даррела, огромное «самиздатское» издание Ахматовой. Она читала, делала трогательные пометки на полях.
— Но, говорят, вы обладаете не только этими книгами, но и диваном Раневской!
— Вы знаете, я даже не смела подумать, что так может случиться. Когда Фаины Георгиевны не стало, работники музея из Таганрога приехали в ее квартиру за мебелью, чтобы сделать ее экспонатом музея. И меня очень поразило, что взяли один парадную мебель, а то, что поддерживало, особенно в последние годы, ее физическое существование, — оставили. Осталась тахта, с которой она не вставала. Эта тахта была мала ей, на ней неудобно было спать, но поскольку раньше она принадлежала учительнице Раневской Павле Леонтьевне Вульф, Фаина Георгиевна с нею не расставалась. Остались также журнальный столик, шкафчик. Эти вещи почему-то ни для кого не представляли интереса. И когда мы зашли в квартиру и увидели, что все они еще здесь и что люди не знают, куда их деть, то мне позволили перевезти их к себе.
Раневская — уникальная актриса. Она верно сказала о себе, что всю жизнь «проплавала в унитазе». Масштаб ее дарования велик, гораздо больший, чем мы это представляем. К сожалению, он не был в

должной мере востребован. Сама же я очень жалела, что деликатничала и не записывала разговоры Фаины Георгиевны на пленку.
— Видимо, это судьба многих больших талантов. Господствующая система бесконечных запретов и преследований сделала свое дело — и в театре, и в кино личность уходит на второй план, даже дарования выполняют лишь функции каких-то замыслов, идей. Это, мне кажется, признаки вырождения...
— Почему же, талантливые люди есть. Борисов, Смоктуновский... Просто время такое, когда спектакли не создаются на актера, на личность. Это кризис. Заниматься духовностью — это не значит быть на волне коммерческого успеха. Коммерческий театр не может себе позволить делать такие спектак-

ности, который мы сейчас видим на сцене, не sluчаен. Это окончательно уничтожает то, что за 70 лет мы уже сделали. Идет полив: знаете, когда предмет сделан, на него наводят глянec...
— И что же вы в такой ситуации предпочитаете делать!
— Я по-прежнему ухожу в свои песни, в свой мир, в свою сцену, как в эмиграцию. Ведь если замкнуться во всем том, что мы видим по телевизору, читаем в газетах, — так и жить нельзя. Да, если бы восполняться всем тем, что мне предлагают... Но это как-то внутренне у меня не совмещается. Если ты личность, если в тебе иное заложено и твои клеточки так устроены, то ты не можешь себе позволить быть пошлым, вооружиться пошлостью и жить в этом измерении.



— Я много думаю о романтике. Лет пять назад мне рассказали, что в одном сибирском городе мальчишки несли транспарант «Хорошим романтического героя». И действительно, было трудно понять, что это: радость победителей или горечь потери! Во мне же существует сильная ностальгия по романтике, и я думаю, раз это есть во мне, то это есть и в других людях. Ведь и «Бригантина», и «И каплі датского короля», и Гаривердиев — все замешано на ней. Это высокая прекрасная музыка. А вот рок и металл, может, как раз и являются похорончиками романтики. Макаревич, правда, здесь стоит отдельно. Он по-хорошему смотрит на мир, и у него нет агрессии. У Гребенщикова тоже встречаются романтические интонации. Правда, у меня свое отношение к высоте их поэзии — я же знаю Окуджаву, Кима... Поэтому грустно, что при живых героях их места занимают другие, которые по уровню все-таки заметно ниже. И вот после того рассказа о похоронах романтического героя мне самой захотелось опять спеть те песни, потому что они нужны людям. Может быть, в жизни человечества что-то глобально и изменится, но у меня безумная вера в то, что ничто в космосе не пропадает.
— Вас тоже не минуло всеобщее увлечение иномирами и космосом!
— Встреча с высокой поэзией в нынешнем бешущем море — настоящая радость, так радуются путешники в пустыне. И наша огромная задача состоит в том, чтобы эти интонации, идеи жили. Они сопротивляются этой танковой дивизии зла, насилия, разрушения, невежества, пошлости — всего того, что давит на души человечества. Ведь никаких танков не потребовалось бы вообще, если бы человечество действительно прислушивалось к тому, что делали и делают художники. Но влияние культуры, искусства далеко не такое, как хотелось бы. Многие просто повторяют: Рафаэль, Бах. Но так ли уж они влияют на конкретного человека! Ничего подобного. Масса вообще не знает и не слышит.
— Чему же тут удивляться, ведь в обществе идет ожесточенная политическая схватка. В известности, популярности люди искусства безусловно проигрывают политикам и депутатам. Не этим ли объясняется непонятное, по крайней мере для меня, стремление писателей и артистов к депутатским мандатам и трибунам!
— Да. Это тоже театр, который, увы, так отражается на нашей жизни. Иногда стараешься от этого как-то абстрагироваться, а затем думаешь: надо же, как интересно! Тот же Горбачев, действительно, уникальный человек. У меня огромное чувство благодарности к нему, но... от лицемерия никуда не деться. Досадно, а так хотелось бы, чтобы он был иным, чтобы он реализовал наши надежды.
— А что, не реализовал ни одной!
— Отнюдь. Для меня дыхание свободы — это не пустой звук. Я очень остро ощутила тот момент, когда перестали требовать рапортчики и репертуарный паспорт, где все должно было быть завизировано. Ведь как тяжело было, особенно в самом начале. Когда я сдавала свой первый сольный концерт, на художестве ему устроили настоящий разнос. Помню, тогда Иван Суржиков (был такой русский певец) заявил, что вот так начиналось в Чехословакии: пели там свои песни — и глядите, чем все это закончилось. А его жена, Вероника Станкевич, пожалела меня, сказав, что не судите ее строго, видите же — большой человек. Затем, правда, привыкли как-то к тому, что я существую: есть такая, что поделаешь. Но приходилось постоянно совершать тайные героические по тем временам поступки: вписывать в паспорт произведения, которые никогда бы не прошли официально на художестве.
— Видимо, это были какие-то совершенно антисоветские «подрывные» песни!
— Напротив, самые безобидные. Например, «Бла-бла о смерти Ивана Грозного». О «Волшебной скрипке» я вынуждена была говорить, что ее автор не Николай Гумилев, а Анатолий Грант. Мне было

Добрых и светлых
надежд
вам,
дорогие друзья,
Киевского зрания
— Елена Камбуrowa

страшно стыдно, и однажды я даже получила записку с замечанием. Крамолу видели в самых невероятных произведениях. В «Белеет парус одинокий» — призыв к отъезжающим в Израиль. Лирического «Маленького принца» (он, кстати, потом стал популярной песней) два года запрещали из-за слов: «Где же вы, счастья острова, где побережье света и добра?» О «Молитве Франсуа Вийона» приходилось говорить, что ее автор Вийон, а не Окуджава, и даже не разобравшись, о чем, собственно, эта песня, видели в ней религиозную пропаганду. Об этом можно долго рассказывать. Но удивительно то, что не понимали песни не какие-то простые люди, а даже литераторы. Вот, скажем, приглашали петь в московский Дом литераторов. Обычно после каких-нибудь партийных заседаний и конференций. И петь я должен была «Гренаду», «Орленку», «Трубочку», и, не дай Бог, Окуджаву. Так и говорили: только не Окуджава! И это продолжалось вплоть до 80-х годов. А затем то ли в предчувствии перемен, я право не знаю, но вдруг разрешили.
— Цепи действительно пали, и, помнится, лет пять назад был большой ажиотаж: бардов показывали по телевидению, концертные залы были переполнены. И вдруг опять куда-то все исчезло.
— Тогда был ажиотаж на все. А затем — спад, и тоже буквально на все. Люди ходили лишь на политическую сатиру юмористов-разговорников. Но, помоему, сейчас опять оживление: в Ленинграде начали появляться барды, появились новые имена. Мне очень нравятся Вера Девушкина и Лена Фролова. Они еще не обладают звонкими именами, но выходят на сцену с очень серьезными программами, построенными на поэзии начала века, Ахматовой, Цветаевой. Их расчет на то, что есть еще все-таки слушатель. А ведь нашему слушателю сейчас действительно очень трудно. Даже в мелочах. Ведь все мешает, начиная с физического ощущения страха, что придется поздно возвращаться домой, а никакая милиция тебя не бережет, и ты ни от чего не застрахован. И в жизни стало все так сложно. И право же, низкий поклон тем, кто приходит в залы. Вот и на моей родине в Хмельницком создано певческое поле. Людям хочется доброты. И ее семена прорастают даже там, где, казалось, остался один только пепел. Это меня поражает.
— Но все-таки вы слушатель — горожанин. Я знаю многих людей, называемых здесь «камбуристами», которые на протяжении многих лет не пропускают ни одного вашего концерта в Киеве.
— Да, «мои» города это прежде всего Ленинград, Свердловск, Новосибирск, Киев, Одесса, где очень много у меня друзей, слушателей. И меня всегда очень трогает, когда люди говорят и пишут: «Спасибо, что спасаете нас от эмиграции».
— И все же, Елена, вы со своим «эмигрантским миром» уже много лет ездите по городам и весям, спасая других от эмиграции. Многие талантливые артисты позже начали и раньше сошли со сцены. Что удерживает вас в этой вечно неустрашенной и кочевой деятельности!
— В первую очередь, конкретные люди и уверенность в том, что без меня им станет еще более сиротливо. Это как в дружбе: если ты предашь человека, ему будет пустынно на земле. А неустрашенность, сложность, видимо, всегда будут у художника. Я не против них. Я против, когда они за гранью. Помню, как за год до Чернобыля, после концерта в Припяти мы заехали к Марии Приmachenko. Попали на хорошее ее настроение (говорят, оно у нее бывает разное). Она прекрасно нас приняла и подарила свои картины. И вот этот художник, в искусстве которого столько света и радости, не имел даже самого элементарного: бумаги, красок. Замечательные вещи были выставлены в сыром зале и портитесь. Так вот, я против таких сложностей. И ведь и тогда были Союз художников, общественные организации, которые, как мне кажется, должны помогать.
— И все-таки для кумиров маскультуры наступили поистине золотые времена. А вы собираетесь все-таки стать когда-нибудь миллионером!
— Вы знаете, при другом раскладе общества (если бы оно было другое, в понятие массовой культуры входило бы совершенно иное: люди бы собирались на огромных площадях слушать Шопена, как я это видела в Варшаве. Это ведь возможно, и я за такую массовую культуру. Но сегодня, увы, это — «Ласковый май». Миллионером стать не удастся, мы все в долгах. А вот если бы у Рязина и прочих было бы побольше извильни (они у них в дефиците), то они бы поняли, что эти деньги нужно вложить в развитие и возрождение культуры, как раз той, какую они уничтожают. Но что делать! Мечтать об этом пока не приходится.
Интервью вел
В. АНИСИМОВ.